



Владимир Николаевич Шеменев родился в 1962 году в селе Чернава Липецкой области. Окончил Воронежский государственный технологический институт. Работал в газетах «Молодой коммунар», «Вечерняя газета», «Труд»-Черноземье», «АиФ»-Черноземье». Публиковался на сайте «Православие.ги», в журнале «Подъём». Автор трех романов. Один из них — «Варяг» не сдается» (роман о событиях 1904–1905 гг.) — вышел в издательстве «Эксмо» в 2015 г. Живет в Воронеже.

Владимир Шеменев

БЕЗБОЖНИК

Рассказ

Эта история произошла в одном из сел Центрально-Черноземного края, между лесом и степью. На речке, что течет через село, полно отмелей, водоворотов и омутов. Берега плоские и песчаные, покрыты ковром из мать-и-мачехи, а супротивные — крутогорьями и осыпями. Выговор у селян тягучий, нежный, ласкающий слух; велосипед называют «лисопедом», а дорогу — «большаком». Церковь там закрыли в тридцатом, а открыли в девяносто первом. Спросите, как село называется? Да какая разница. Тысячи таких сел по России, и историй таких тысячи. Только заканчивались они все по-разному.

— Парчу-то зачем жечь? Из нее ска-терти можно пошить. В сельсовете столы вон голые, только что газетами прикрыты. — Макар тронул Тихона Ильича за руку, предлагая подумать, прежде чем отдать команду на всеожжение.

— А ты, Макар, решил срамоту новой власти парчой прикрыть, мол, красивей будет? — голос из толпы, вызвав смех, колыхнул скопище зевак.

Макар промолчал, зная, что они не повинны в своем жестокосердии. А вот председатель — тот самый, чью руку Макар придержал, остановив приказ залить керосином благодать Божию, — не совладал с собой.

— А ну, молчать всем! — Смех людей, вызвавший злобу у председателя сельсовета Тихона Ильича Бирюкова, замер с первыми выстрелами.

Палил председатель из нагана в воздух, зыряка по сторонам. Он не навидел их — этих сытых, довольных, красномордых от мороза односельчан-упырей. В своих глазах он был герой, не жалевший жизни на фронтах Мировой и Гражданской. А для них — босяк, нищоброд, калека (одноногий на костылях) фронтовик в дырявой от пуль шинели, в буденовке вместо шапки. И если бы не револьвер и не десяток вверенных ему вооруженных милиционеров, народ, наверняка, растерзал бы богохульника. Но толпа молчала, подавленная прошедшими в прошлом году арестами.

Тогда, выполняя спущенную сверху директиву, Бирюков с активистами из числа первых колхозников провел на селе опись всего имущества с тем, чтобы хозяева не пожгли и не распродали свое же кровное, которое, по пролетарской логике, принадлежало уже не им, а только что созданному колхозу «Первая пятилетка».

Возмущенных хозяев пришлось арестовать и отправить в райцентр, как думали на селе — ненадолго. Разберутся, выпишут очередной налог и отпустят. Их ждали, но они не ехали. Кто-то из актива по пьяни проговорился, что всех задержанных лишили прав, а, следовательно, и шансов на возвращение. А тут слух прошел, или видел кто, как лишенцев вместе с семьями погрузили в теплушки и отправили куда-то на север, в края нежилые, погибельные. Это известие напугало деревню, заставив недовольных или заткнуться, или притихнуть.

И вот — новая директива, согласно которой сплошную коллективизацию увязали с ликвидацией церковей. Мол, пока стоят церкви, в стране все будет плохо. И пошло-поехало, как снежный ком. Церкви закрывали, попов выслали, имущество или грабили (растаскивая по себе), или сжигали. Можно подумать, что Сам Господь запрещал сеять и пожинать плоды труда своего. «И сеял Исаак в земле той и получил в тот год ячменя во сто крат: так благословил его Господь»¹.

Власть запретила богослужения, в то же время поощряя употребление колбасы и молока в пост. Возле селпо и на рынке повесили плакаты, на которых бородатый старичок, очень похожий на отца Леонтия, обращаясь к народу, стихоплетствовал: «Верующий, если нету бога, то нет и поста, смело ИДИ ДО МАГАЗИНА, ждет тебя там свинина», — и ниже стояла подпись в скобках: «Народная поговорка». Народ ухмылялся, мужики крутили усы, девки — локоны, и шли до сельмага.

Само по себе употребление мяса в пост — при том, что ты готов умереть за Христа прямо здесь и сейчас, — не являлось грехом. Другое дело, когда количество употребляемого скоромного² становилось в обратную пропорцию к желанию умирать. Тем более, за Бога, которого никто не видел. Об этом писали газеты и тараторили лекторы из агитбригад безбожников, колесивших по району все лето. И, надо сказать, у сатаны получилось отвадить христиан от Христа: пост не держали, лоб не осеяли, на сон грядущий³ не читали — просто жили и умирали в пустоту.

А как за храмы взялись, так и защитники не нашлись.

¹Быт. 26:12.

²Скоромное (от устар. скором, ст.-слав. скрамъ — жир, масло) — молочные и мясные продукты, которые не рекомендуется употреблять в пост.

³Вечерняя молитва.

Вот и сегодня, созерцая разруху — побитые окна, распахнутые настежь двери, пустую колокольню и купол с погнутым, обезображенным крестом (из-за того, что его не удалось сбить), — народ молчал, пожирая глазами то, что принадлежало Богу и должно было исчезнуть в горниле индустриализации.

Речь шла об имуществе сельского храма — вытасченном, сваленном и подлежащем уничтожению. Гора была приличной. Одних только тканевых предметов культа собралось вагон и маленькая тележка: одежды священнические, стихари пономарские, покрывала с престола, завесы, покровцы⁴, камилавки⁵, хоругви, плащаницы, отрезы материи, скатерти кружевные, полотенца расписные. Все шелковое да парчовое, шито нитками золочеными, с крестами и вензелями кручеными. Все это было представлено семикратно⁶ по цветам, по праздникам. Сверху набросали книг, навалили икон, предварительно сняв киоты. Из них, по задумке уполномоченного просветителя из района, надлежало изготовить стенды уведомительные, просветительные и порицательные — отражающие суть проходивших по всей стране изменений.

А изменения были налицо.

Несмотря на то, что «безбожная пятилетка» официально так и не была объявлена, Советская власть умудрилась только за один год⁷ ликвидировать семьдесят епархий, арестовать сорок епископов и митрополитов и закрыть девяносто пять процентов церквей, существовавших еще в двадцатые годы.

— Ты посмотри, ткань какая, золотом шита... а ты — сжечь. — Макар Кузьмич исподлобья смотрел на председателя.

— И что с того? — Тихон Ильич качнулся, переступив костылями, перенося тяжесть тела на здоровую ногу. — Наша власть — это власть трудового народа. И парча мне твоя и в хрен не впилась.

— А она не тебе нужна, а той самой власти, о которой ты тут трезвонишь. Нищая власть не внушает уважения. Власть должна быть солидной, с достоинством. Бабам отдадим — пошьют скатерти, да занавески, да на стулья поджопники. Красота будет... Все лучше, чем сжигать. А кто придет за справкой али еще за чем, сразу поймет: вот она власть какая. А тут шелков да парчи... если с умом раскрыть, весь район украсить можно.

Бирюков хотел возразить: мол, мне твои шелка до одного места — но осекся, поймав взгляд уполномоченного из района.

— И что вы предлагаете, Макар Кузьмич? — Уполномоченный переложил портфель в другую руку и подышал на окоченевшие пальцы. Мысль была здравая. Ткань — она и есть ткань, и то, что ткани не было в стране, он тоже хорошо знал.

— Все это здесь оставлять нельзя... Растащат.

— На поджопники...

— Тихон Ильич, ну полно вам юродствовать, не перебивайте. — То-

⁴ Покровцы — расшитые матерчатые платы, которыми покрываются дискос и потир во время литургии.

⁵ Камилавка — головной убор священника.

⁶ Цвета богослужений в зависимости от церковных праздников и священных событий: белый, красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный.

⁷ Речь идет о 1932 г.

варищ из района был человеком тонкого душевного настроения. Он не любил бунтовщиков и самодуров из числа низшего звена. Любимой его прищказкой была фраза кого-то из древних: «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». Услышал он крылатое выражение, будучи еще семинаристом, и с тех пор руководствовался им в жизни, прощая начальству крупное и не спуская подчиненным малое.

— Так вот... перенесем все ко мне в дом.

— Это за каким... — председатель хотел добавить «хреном», но промолчал, чувствуя, что товарищ из района во всем почему-то согласен с Макаром.

Уполномоченного звали товарищ Шпаков. Он так и представлялся, не удосуживаясь произнести свое имя и отчество. Невысокого роста, остроносый, с выпученными глазами, товарищ из района был одет по-зимнему: в валенки и длинное, до пят, серое пальто с лисьим воротником, подбитое изнутри ватином. На шее — красно-пролетарский шарф, под пальто — стеганая безрукавка, а вот на голове почему-то не по сезону красовалась простая фетровая шляпа, продуваемая ветрами и пронизываемая холодами. Этакая дань моде, отчего от мороза нос и уши уполномоченного были под цвет шарфа.

И была у товарища Шпакова одна тайна, которую он берег, как Кощей свое яйцо. Когда-то он служил чтецом (не в этой области и не в соседней, а за 500 км) и даже окончил один курс семинарии, был исключен за курение и матерщину и это поставил себе в заслугу, устраиваясь на работу в отдел культуры. Но не это было тайной, а боязнь неотвратимого наказания за дела безбожные.

Ему очень не хотелось ехать сюда, а потом писать отчет, что и как горело и сгорело ли. В семинарии он и сам читал, и пресвитеры рассказывали, как Господь наказывал безбожников. То мор нашлет, то молнии с неба, то персонально накажет слепотой или немотой. Все это позабылось с годами, но недавний случай, когда молнией убило второго секретаря райкома, ломавшего крест, оживил в его памяти строки из Библии: «Если же и после сего не послушаете Меня и пойдете против Меня, то и Я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши»⁸.

Вот этого Шпаков и боялся.

Наган — он, конечно, дает власть, но большее уважение и трепет вызывает портфель, пошитый из той же кожи, что и плащи чекистов. Портфель был у Шпакова, а наган у Бирюкова. И если бы на дворе был год двадцатый, лежал бы товарищ Шпаков с дыркой в голове да на сырой земле, и Бирюкову ничего за это не было бы. Шлепнул да шлепнул. Значит, было за что.

Но год был не двадцатый, да и присутствие милиции из района накладывало отпечаток на субординацию.

— Давай, лепи дале, — то ли Макару, то ли уполномоченному сказал Тихон Ильич и сел на принесенное из храма архиерейское кресло.

Макар Кузьмич Колокольников — коренастый, сильный мужик с руками-граблями, с окладистой смоляной бородой и, что самое интересное, белый, как лунь. Когда поседел — сам не знал, всем говорил, что таким родился, и добавлял: «Только без бороды». Был он из зажиточных: маслoбойню держал, коров полсотни, лошадей для выезда и вся-

⁸ Лев. 26:27–28.

кой мелкой твари по паре. Одним словом — кулак, но сообразительный. Как только подуло не оттуда да не тем, продал все, включая дом, разделил между сыновьями и дочерьми, расселил всех по разным селам и хуторам, купил мазанку на окраине и сел с женой у окна в ожидании актива.

А пока ждал, прочитал в ноябрьской «Правде» статью вождя с броским заголовком «Год великого перелома». Понятие «культурных сил» он понял по-своему и, сославшись на Сталина, накатав в район бумагу, что хорошо бы на селе организовать клуб для воспитания тех самых «культурных сил». А так как помещения своего у клуба нет, то можно под него приспособить здание церкви. Письмо запечатал и отвез в район, положил на ступенях и ушел. А через неделю к нему приехал товарищ Шпаков, как главный по вопросам досуга на селе, и назначил Кузьмича заведующим этого самого Дома культуры.

И так получилось, что Макар Кузьмич оказался единственным из бывших, кто не претерпел, не был лишен и не лишался прав, был не выселен и не арестован, а с прибытком пошел на повышение, получив должность завклуба при новой власти.

И вот теперь завклуба требовал не сжигать «опиум для народа», а, переключив, пошить множество нужных в употреблении вещей.

— Перенесем, а дальше что? — Шпакову нужны были ориентиры. Как человек быстрого ума, он все ловил на ходу. Но недосказанность не давала ходу творческой мысли, и он страдал.

— Я все перемеряю, пересчитаю и доложу в район — вам, товарищ Шпаков. — Кузьмич подобострастно кивнул, лоя взгляд уполномоченного. Поймал, понял, что инициатива одобрена, и продолжил: — Из всего барахла шторы пошьем, занавес в клуб. В сельсовет шелк отдадим, вместо газет пущай стелют на столы. В район, в отдел культуры, отвезем и парчу, и полотенца, и подушки. Стены у вас в кабинете, — тут Макар ткнул в уполномоченного желтым от табака пальцем, — можно обить тканями вместо шпалер: и красиво, и тепло. Кафтаны да сарафаны (Макар имел в виду стихари и фелони) отберем для спектакля «Поп — толокный лоб», а что-то для сценки «У попа была собака»: все-таки у нас Дом творчества, так сказать, муза, а не трактир.

Колокольникова несло... Народ дивился, Бирюков морщился, а товарищ Шпаков уже видел перед собой не сельский клуб, а театр областного масштаба и заслугу свою в том, что поддержал завклуба в его начинаниях.

Кроме одежд и тканей, Макар Кузьмич забрал иконы — с мотивировкой «для музея». И это понравилось уполномоченному, отчего он растрогался, долго хлопал завклуба по плечу и также долго сморкался, прочищая нос от мелких сосулук.

Макар все свез на пяти возах. Что в позолоте — в доме положил, что медное — в сарае, а тряпчное и деревянное — на гумне, под навесом, где снег и ветер.

Пообещал в три дня накатав план применения конфиската и переслать Шпакову. А пока товарищ из района был здесь, Макар отобрал ключи от храма у председателя и подsunул бумагу за собственной подписью на имя Шпакова и Бирюкова с требованием застеклить за счет сельсовета новоиспеченный Дом культуры и творчества.

Вечером был разговор с женой — женщиной богобоязненной, тихой, но упрямой в тех вопросах, что касались ее компетенции. Она первая завела разговор о том, что, собственно, задумал Макар и зачем ему все это.

— Я же не для себя стараюсь... Для Бога, — говорил Макар, купая усы в квасе. Отпил, вытер бороду тыльной стороной ладони и продолжил: — Вот ты пойми, несознательная: я сегодня всю эту благодать, — тут он обвел рукой горы вещей, лежащих внавал на полу, на лавках, на печи, — спас от сожжения. Зачем? А затем, чтобы Богу угодить.

— Да чем же ты, Макар, Ему угодишь? Если бы ты все это в церковь снес да попу бы нашему Леонтию отдал, глядишь, Бог бы тебя и отблагодарил. Только попа пойдя сыщи, днем с огнем не найдешь. Где он? Может, в Сибири лес валит, а может, в овраге догнивает. Да и церковь закрыли. Стниет все или мыши поедят... А грех на тебе будет!

— Близка твоя мысль к истине, только не до конца созерцает она волю Божию.

— Да неужто тебе откровение было? — с издевкой сказала жена. — Ишь, святой нашелся.

— Не святой... Но видение было.

— А может-то, видение от бесов было, чтобы душу твою совратить? Ты же лба дома не перекрестишь, все на людях только.

— Замолчи... Ишь, удумала — от бесов. От них воняет, а я с ангелом чистоты общался. Он так и сказал: забирай в дом, а что делать — подскажу.

— Подсказал?

— Подскажет, не волнуйся, — Макар зевнул, утомленный ненужным, как ему казалось, спором, — давай спать, полночь уж.

— Так на чем спать-то? Кровать вся завалена благодатью.

— Ну так скинь на пол.

— Они же освященные.

— Скидывай! Я не видел, как их освящали, а ангел ничего по этому поводу не сказал.

Через три дня, как и обещал, Макар Кузьмич накатал в райцентр бумагу на имя Шпакова, где подробно, по пунктам излагал ход, как ему казалось, ангельских мыслей. Предложение Кузьмича сводилось к следующему: на селе, кроме клуба, устроить музей «Безбожник», куда и определить все, что останется от перекройки и перепошива. При входе поставить косматые чучела, нарядив их попами, старух рядом горбатых и костлявых, смерть с косой (не страшную), можно выпивающую с туняядцами, иконы на стенах повесить сплошняком, чтобы в глазах рябило, и плакаты — цветные, красивые, с пролетарскими лозунгами. А во дворе, перед крыльцом, устроить могилку, этакое фиктивное захоронение, и надпись на кресте, на досточке: «У попа была собака...»

Больше всего Шпакову понравилось про могилку. Насмеялся, прослезился, высморкался и поехал в область за поручкой на музей. Там шутку оценили, пообещали денег и поставили план: к празднику Крещения музеем быть. Тут же из области был звонок Бирюкову с требованием подыскать здание под музей.

Было это за два дня до Введения и почти за месяц до обещанного срока.

— Ты что собачишься, не с той ноги встал, что ли? — Макар Кузьмич сидел перед председателем.

На столе алым кумачом сияла скатерть, пошитая из катапетасмы⁹. И то, что она была вся в узорчатых крестах и лилиях, придавало обстановке некую аристократичность. Скатерть невольно преображала кабинет, осеняя его своей благодатью. На столе стоял потир¹⁰ с водой, чашки по кругу, и все это было накрыто покрывцами. «Не по делу, зато в сохранности», — думал Макар Кузьмич, краем уха ловя хулу в свой адрес.

— Я, дорогой мой писака, с гражданской встаю всегда с одной и той же ноги.

— Прости, сорвалось.

— Сорвалось у него... Заварил кашу, умник, — расхлебывай.

— Ты, Тихон, скажи, чего расхлебывать. А я уж расхлебаю.

— Вот где я тебе дом под музей возьму? Нет у меня домов. Двухэтажный кулака Филимонова под школу отдали; тот, что Прохоровым принадлежал, — под правление; Культашкинский с мансардой — под фельдшерский пункт... Мы не уезд и не волость, у нас кулаков раз-два, и счет кончился.

— Может, церковь?

— Как вариант. Только там клуб вроде наметили.

— Клуб можно и подвинуть. Там всем места хватит.

— Ну, раз хватит, давай двигай. С тебя и спрос будет.

— Забор мне нужен.

— За каким таким... — хотел выругаться Бирюков, но удержался, ласково провел рукой по скатерти, чувствуя выпуклость шитых крестов. — Вот благодать, даже ругаться не хочется. Так зачем тебе забор?

— Экспозицию...

— Чего плетешь? — Председатель стукнул культяпкой по полу — то ли от возмущения, то ли от неясности. — На благодати сидим, благодатью утираемся, а ты материшься. — Бирюков имел в виду, что не только стулья и столы обшил Макар Кузьмич, но и полотенчики принес в дар правлению — те самые, которыми священник свои белые рученьки вытирал после омовения. За что Кузьмичу с бантиком, но это мысленно, а на людях начальство должно быть... эх... сила, а не слюни деревенские. Взял и треснул кулаком по столу, да так, что покрывцы подпрыгнули.

Макар засопел, полез в карман, вытащил газетный клочок, прочитал, шевеля губами, трудно запоминаяемое слово, поднял голову и, глядя на Тихона, сказал:

— Экспозицию делать будем.

— Ты человеческим языком скажи.

— Выставленные напоказ предметы культа и искусства, которые имеют некую ценность, должны быть в сохранности.

— Вот ты выдал... предметы культа и искусства. Ладно, пиши заявку на пару кубов доски необрезной, я подпишу.

После обеда опять был разговор с женой. Говорили о музее и о том, что Макар Кузьмич делает что-то не то, как ей казалось.

— Сам себя заживо хоронишь — не на кладбище, в Царствии Небесном.

⁹ Катапетасма — завеса в алтаре, прикрывающая Царские врата.

¹⁰ Потир — чаша, сосуд для христианского богослужения, применяемый при освящении вина и принятии Святого Причастия.

— Отвянь! — бурчал Макар, пересчитывая предметы церковного быта, разложенные на столе.

— В геенну огненную захотел, сам прешься и меня тащишь.

— Отвянь, — Кузьмич поднимал стопками одежды посчитанные и скидывал на пол, в места попираемые и нечистые.

— Вот помрешь — я за тебя записки подавать не буду.

— Это почему?

— Безбожник ты!

— Ой-ой-ой! С чего это так?

— А у тебя ничего святого нет.

— Я антиминос припрятал? Припрятал. Книги богослужебные сохранил? Сохранил. Храм остеклил? Остеклил. Так как же ты говоришь, что я безбожник?

— Иуда тоже апостолом был... А вон что вышло.

И не было бы ничего, если бы «ангела» того, о котором наемни скзывал Макар, он саморучно не впустил к себе в душу еще по молодости. Давно это было. Горяч был тогда Макар Кузьмич и несговорчив. Людей нанимал — спуску не давал. В аренду что брал — своего не упускал. Под проценты деньги ссуживал — шукуру потом спускал. Так и жил-поживал, барышами карманы набивал. Вот на этом враг человеческий и подловил Макара: на тщеславии да на сребролюбии, а как до музея дело дошло, так вообще свояком стал, считай, что родня.

— Дура, еще раз брякнешь такое — убью! — рявкнул Макар. Замахнулся кулачищем, что как молот был, да так, что Дарья дернулась в испуге, налетела затылком на косяк печи, рассадив голову в кровь.

С первой кровью пришло понимание: «Бес в нем. Никогда на меня руку не поднимал. Точно бес... и все из-за одежд этих, будь они неладны. И зачем только церковь закрыли?» Хотелось плакать, но из боязни еще более разозлить мужа лишь всхлипнула, зажимая ушибленное место. И, сутулясь, кинулась из теплой хаты в холодные сени. Как была в кофточке поверх ситцевого платья, так и метнулась, стараясь не смотреть сатане в глаза.

— Дура, овца, ишь, с Иудой меня сравнила! — Загремело что-то, упало, разбилось, опять загремело, покатилось по комнатам. Не то посуду он там бил, не то ведра валял. Бесился, одним словом. — Порублю! — донеслось до Дарьи. Она вздрогнула и перекрестилась. — Убью, сука, только воротись! — орал Макар, а вот в сенцы не выходил, как держало его что-то. И слышались удары — глухие и вместе с тем хлесткие: рубил топором дерево, бил по лавкам да по столам.

В сенях было холодно. Сунув руки под мышки, жена Макара стояла, не зная, что делать. Тут тихо да холодно, а где тепло — там буйно. Пойти можно было, да только за смертью лютой. Вот и дрожала телом от холода, душой от страха.

«Уйду я», — подумала Дарья и услышала в ответ: «Иди. К вечеру возвращайся. Все разрешится...»

В сенях была кладовка, лук там хранили, соленья, зерно в коробе, все накрыто тряпками старыми и тулупом ветхим, дедовским. Стащила одежду, укуталась с ног до головы, воротник подняла, на голову — шаль, мышами изъеденную, на ноги — валенки. Открыла дверь и вышла на крыльцо.

Куда идти, Дарья не знала. Дети по хуторам жили, из подруг половину выслали, а кто остался — не то, что в доме, в собачьей будке не по-

стелют. Постоялая, потопталась и пошла в сторону храма с мыслью: «Бог милостив, не оставит». Пока шла, затрясла озябшие руки в карманы — и звякнуло под пальцами что-то. Нащупала и поняла: вот где Макар ключи от храма прятал на тот случай, если Бирюков взъерепенится.

Замок щелкнул и снялся с проушин, а вот дверь подмерзла, пришлось навалиться и ткнуться в нее плечом. Сверху с козырька сыпануло снегом — лежалым, холодным, колючим. Дарья отряхнула платок, дернула на себя ручку и вошла. Буруны от поземки, что набил ветер под дверь, словно пальцы, тянулись в глубь притвора. Под ногами захрустело битое стекло, поверх которого катались промороженные свечи, рассыпанные по всему полу. В храме было гулко, холодно и неудобно. Жена Макара прошла по церкви до алтаря, там перед иконостасом по левую сторону всегда висела икона Божией Матери «Умягчение злых сердец». Куда делась икона и где сейчас иконостас, одному Богу известно. Во всяком случае, Дарья точно знала: ни того, ни другого в их доме нет. Опустилась на колени перед пятном на том месте, где когда-то висела икона. Пятно было светлое в силу того, что копоть со свечей и с кадила чернит гарью предметы, оставляя то, что под ними, вне черноты. Дарья Пантелеймоновна пошарила рукой по полу, насобираала свечей, а когда поняла, что зажечь их нечем, сложила аккуратной стопкой у стены и перекрестилась.

— Матушка Богородица, милая, пощади. Примими молитву мою малую... — Дарья замолчала, подбирая слова. — Не за себя прошу, за мужа, за Макара Кузьмича. Дурак он, гордец. Милости прошу ему, а себе наказания, что не остерегла. Хоть смерти меня предай, хоть параличом разбей, все приму. Только огради его от задуманного. Все во власти Твоей... и мир душе его дать, и беса изгнать. Помогите...

Не успела она договорить, как ветер бросил в окно пригоршню льдинок. Громыкнула дверь, и запели петли протяжно и тоскливо: «Мииир... всееем». Сердце дернулось и затрепыхалось, вызывая страх и липкий холодный пот. Дарья повернула голову — и замерла.

На пороге, в проеме, стоял бес: высокий, в длинном распахнутом балахоне, с остроконечной головой и огромным баулом в руке. Стуча когтями, прошел в притвор, бросил баул на пол, да так, что звякнули в нем души грешников. Потянулся к поясу, вытащил наган и голосом Бирюкова строго крикнул, вызывая эхо под сводами храма:

— Кто здесь? А ну выходи, а то постреляю... Ишь, удумали, нечестивцы!..

Что удумали — не сказал, только взвел курок и пошел к алтарю, в угол, где дрожала онемевшая от ужаса Дарья. И видела она, как балахон превращается в распахнутую шинель, а голова луковкой — в буденовку, и не когти цокают по полу, а деревяшка постукивает.

— Это я, Тихон Ильич, — робко ответила Дарья, пытаясь подняться на ослабших от страха ногах.

— Кто «я»? — по голосу он ее не признал, хотя чувствовал в интонациях знакомые нотки.

— Дарья... Макара Кузьмича жена.

— Вот так новость, вот так сюрприз, не ожидал. — Щелкнула собачка на револьвере. Это он на предохранитель оружие поставил, сунул за пояс пистолет и пошел на голос, опираясь на костыль, стуча протезом по еще целым, не выломанным полам.

Постояли, поглазели друг на друга, отходя от неожиданности встречи.

— Сядем, что ли, Тихон Ильич? — предложила Дарья, показывая на солею¹¹.

— А чего бы не сесть, в ногах правды нет. Тем более в одной.

Тихон и Дарья сели на возвышенность. День стоял серый, неуютный, отчего в храме было сумрачно. Председатель вынул из коробка спичку, чиркнул, Дарья протянула свечку, подождала, пока разгорится пламя и начнет таять воск, накапала на пол и прилепила свечу. В храме посветлело. Бирюков достал папиросы, хотел закурить, но передумал. Покрутил пачку и сунул в карман.

— Я вот что пришел, — начал председатель безо всякого вступления, — думаешь, страх Божий меня пригнал? Нет, Дарья. Страх тут не при чем. Вон в позапрошлую осень я один в банду сунулся, не убоаясь, всех там и положил. Нету у меня страха. А вот с совестью непорядок. Изглодала она меня. Собрал, что муж твой нашел да настрочил, сунул в мешок и принес сюда. Лучше бы оно сгорело в тот день.

— Для всех было бы лучше.

— Мне-то кресты и парча жить не дают, а ты что тут делаешь?

— За мужа молюсь, непутевого.

— Чем же он провинился? — Бирюков хохотнул. — Мужик он у тебя ушлый, всех провел, всем подлизал, выбился в директора музея, которого отродясь и в областном центре не было. Далеко пойдет... Если кулак пролетарский не остановит.

— Вот за то и молюсь, чтобы из директоров турнули.

— Да кто осмелится? Он теперь в фаворе у районного начальства. Сам первый секретарь за него горой.

— Я же не людей прошу, Бога...

Снег уже по-вечернему заалел, когда вышли из церкви. Ключи от храма Дарья все же отдала Бирюкову, хотя, как выяснилось, у него были запасные. Перекрестилась на изуродованный крест, попрощалась с председателем и пошла к дому, неся на душе не то камень, не то плиту чугунную. Что там, дома, как там? Хотела позвать Бирюкова, но побоялась. Макар — он непредсказуем: кинется с топором на председателя, а у того револьвер. И кто ляжет первым — неизвестно. Не дай Бог, собственный муж, хотя и за председателя на Страшном Суде спросят.

С каждым шагом ноги все глубже утопали в сугробах, шаг становился короче, и, в конце концов, она остановилась. Села в сугроб и заплакала, да так жалобно, что собаки в соседних дворах подхватили и заскулили не то от тоски, не то от ужаса.

Видел все это Тихон Ильич, обернувшись до чужой жены. Взглядом провожал ее, обнимая мысленно, хотел доковылять, помочь, но боковым зрением поймал неспешно въехавшие в проулок сани и ушел огородами, дабы не навлекать на Советскую власть порицания за прелюбодеяние.

— Здравствуйте, Дарья Пантелеймоновна, а я к вам, к Макару Кузьмичу. С постановлением из района. — Из саней махнул шляпой Шпаков, тронул за плечо извозчика, выскочил и к ней. — Давайте помогу, устали, откуда вы? — Уполномоченный помог Дарье подняться, отряхнул, довел до саней и усадил на ковер, что был постелен поверх слежавшейся копны сена.

— Из церкви, — не стала юлить жена Макара, посчитав: что будет, то будет.

¹¹ Солея — возвышение пола перед иконостасом в христианском храме.

— Так ее ж закрыли, насколько я знаю. — Шпаков плюхнулся рядом, прижал портфель к животу и махнул ручонками: мол, погоняй. Лошадь напряглась, дернула и оторвала от наста успевшие пристыть за пару минут сани.

— Вы закрыли, я открыла.

— А на каком основании, позвольте узнать?

— Сегодня же Введение...

Шпаков промолчал, понимая, что все разговоры на религиозную тему всегда сводят к одному: к признанию или отрицанию. Отрицать он боялся, а признать стыдился. Молчала и Дарья, понимая, что развязка не за горами, а вон за теми тополями. С тем и доехали до дома Колокольниковых.

Во дворе было тихо, кобель не лаял, не метался. «Сдох, что ли?» — подумала Дарья Пантелеймоновна и, бросив взгляд в сторону будки, осеклась. Привязь была разорвана, на снегу валялся черный ошейник. Цепочка собачьих следов уводила на гумно, далее в огород и в овраг, заросший молодыми ивами. На крыльце отчетливо виднелась одна пара следов. В груди заняло. Значит, Макар из дома не выходил.

— У вас оружие есть? — спросила Дарья, пожалев, что не позвала Тихона с собой. У того-то точно есть, сама видела.

— А что нужно?

— Да как вам сказать... Буянил Макар... так, немного, с топором по дому бегал, обещал меня убить. Как бы чего не вышло.

— Знаете что, Дарья Пантелеймоновна, вот... — Шпаков нырнул с головой в портфель, вытащил бумагу и протянул женщине. — Вы это... короче, пусть Макар Кузьмич подпишет постановление. А я здесь подожду.

— Как скажете. — Держась за перила, Дарья поднялась на крыльцо, толкнула дверь и вошла в сени. Было тихо и холодно. Постояла, прислушиваясь. Потрогала стены, отделяющие сени от избы, они были ледяные. «Остыла уже печь, значит, не топил. Может, ушел куда? А куда? Да меня искать пошел и замерз где-нибудь. А следы? Не по воздуху же он улетел?» Сердце еще раз дрогнуло — как там, в храме, когда Бирюкова за сатану приняла. Застучало, заколотилось, погнав волнение по венам, отчего появилась храбрость и дерзновение на поступки смелые, необдуманные. Толкнула она дверь в хату, шагнула через порог — и полетела, споткнувшись о тело мужа.

Втроем, считая извозчика, перенесли Макара Кузьмича на кровать. Уложили, накрыли теплым одеялом и встали, не зная, что делать. Макар Колокольников был жив, но изрядно промерз, лежа на холодном полу, куда упал не по своей прихоти, а по случаю полного паралича. За Дарьей погнался или просто хотел выйти во двор — одному Макару было известно да Богу, но оба молчали в силу разных обстоятельств. Только топор был всажен в дверь по самый обух. На том и порешили, что все-таки погнался.

Дали знать Бирюкову, который обещал привезти доктора. Пока ждали председателя с активом, Дарья рассказала уполномоченному, как в ее мужика вселился бес и довел до состояния полной расслабленности, а все из-за того, что не было у Макара страха Божьего. А так как она была женщина грамотная и начитанная в Писаниях и патериках, то с ходу и цитату подобрала для пущей убедительности. «Венец премудрости есть страх Господень, дающий мир душе и невредимое здравие», — говорила Дарья, глядя Макара по голове. Макар мычал что-то невразумительно и кивал головой, во всем соглашаясь с женой. — «Страх Господень отгоня-

ет грехи; не имеющией же страха не может оправдаться»¹². — И добавила, глядя в глаза Шпакову: — Наказал его Бог за дерзость, что осмелился Божьим распоряжаться.

Шпаков слушал, икал и мысленно крестился, робея в присутствии Дарьи и хлопающего глазами Кузьмича перекреститься явно, троекратно.

Пришел актив. Долго, как в доме покойника, шаркали в сенцах валенками, обивая снег, и так же долго входили — по одному, хлопая безостановочно дверью. Последним зашел врач местной амбулатории, осмотрел Кузьмича и вынес вердикт, и так всем понятный: апоплексия, или, по-простому, удар. Доктор прописал покой, грелку на онемевшие члены и ушел, пообещав к вечеру заглянуть: все-таки не рядовой колхозник — директор музея и завклуба по совместительству, третий человек на селе после председателя и участкового.

Уже больше часа все присутствующие в доме, за исключением ослабленного, сидели за столом. Пили чай, курили, спорили. Что делать с музеем, никто не знал. Что делать с церковным имуществом — тоже. Председатель сельсовета отнекивался, уполномоченный открещивался. И только Дарья имела план, открытый ей провидением.

— У меня предложение, — сказала она и замерла, ожидая реакции мужиков.

Реакция была положительной.

— Что предложите Дарья Пантелеймонова, все примем. — Товарищ уполномоченный был решителен. После душеспасительных бесед с Дарьей он был готов на все, кроме музея.

— За что возьмешься, во всем поддержим, — подмаслил кашу Бирюков, после встречи в храме тоже пожелавший встать на путь исправления.

— А тут и предлагать нечего. Вынести все во двор, полить керосином и сжечь. Попустил Господь сжечь — значит, надо было жечь, а не устраивать музей, да еще с таким дурацким названием «Безбожник».

Сказала — как обрубил. На душе у всех полегчало, от сердца отлегло, оставалось выработать схему, как все устроить, чтобы всем было хорошо и за это никому ничего не было. Кумекали недолго, после чего и появилась на свет бумага, поставившая точку в этой истории.

Текст постановления звучал так: «Учитывая, что директор музея слег, разбитый параличом, и нет перспектив его выздоровления, все церковное имущество, принадлежащее музею, дабы его не расхитили церковники и не использовали в своих религиозных целях, решением поселкового совета под председательством тов. Бирюкова и в присутствии тов. Шпакова, подлежит сожжению». Подписали и прихлопнули сверху поселковой печатью для солидности.

Бирюков передвинул стул и подсел к кровати, на которой лежал Макар Кузьмич. Взял слабую, безвольную его руку в свою и безо всякой злобы сказал:

— С чего начали, тем и закончили. А стоило ли начинать, а, Кузьмич?

И услышал председатель и все, кто были в комнате, голос не земной, ангельский:

— Стоило! И об одном покаявшемся грешнике ангелы поют на Небесах...

А может быть, это Дарья Пантелеймоновна проговорила?..

¹²Прем. Сир. 1:18, 21.